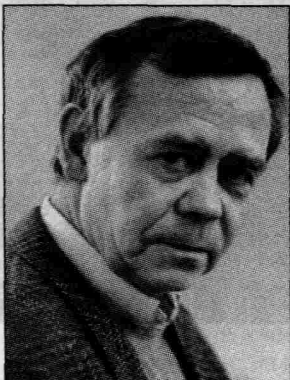


# Русский паломник



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

## НА АФОНЕ

На Афон я зван был давно. Конечно, не с самого Афона, приглашения оттуда никому не рассылаются, а всем тем, что слышал и читал я о нем со времен молодости.

Вначале было только слово, оваянное святостью и суровостью ее исполнения избранными на избранной земле, спасительным чистым дыханием и смутным зовом. Читали же мы и Гоголя, и Тургенева, и Лескова, и Достоевского, и Толстого... Никто из них не обошелся без этого слова. Среди подобных ему, таких как Оптиная Пустынь, Валаам, Соловки, оно было первой и выше, где-то как бы на полпути к небесам. Лучезарным горним духом струилось оно, сладкими воспоминаниями тех, кто приносил его в Россию.

А потом я прочел дивный очерк об Афоне Бориса Зайцева, приезжавшего туда из Франции в 1927 году. Очерк художественный и возвышенный, мягкий и нежный... Никак не хотелось русскому человеку, потерявшему Родину и словно бы обретшему здесь ее предшествование, — никак не хотелось Зайцеву заканчивать его, и он уже без всякого порядка, только бы не отрываться, добавлял и добавлял к нему новые главы. Из русского зарубежья присылали мне рождественские и пасхальные поздравления на афонских открытках с видами Пантелеимонова монастыря, Андреевского и Ильинского скитов... Представлялось, что это и есть райские кущи, нечто небесное, склонившееся благодатным сосупом. Афон под пером Константина Леонтьева, суровый и многоликий, разбитый на многие десятки монастырей, скитов, келий и калив (келья, когда она отдельно от монастыря, — это общежитие на пять-шесть человек с домовою церковью; калива — отдельный домик без церкви), составленный множеством форм и оттенков монашеской жизни, как оно и есть по большей части до сих пор, — этот «приземленный» Афон не отрезвил меня. Ну да, это, может быть, не совсем рай, но из того, что можно создать на грешной земле, это к раю ближе всего. «Аскетический рай» — услышал я потом на Афоне. И навсегда запомнились слова К. Леонтьева о сути более чем тысячелетней афонской житийности: «чистота и прямота православия». Суть эта постоянно подтверждалась и воспоминаниями паломников. Все они возвращались со Святой Горы в радости: есть там, среди ее насельников, крепость такой духовной кладки, что ничем ее — ни грубой силой, ни сладкой «прелестью» — не взять.



Свято-Пантелеймонов монастырь

Думаю, многие живут с этим упованием: есть такая крепость, против которой бурлящий в грехе мир бессилен.

Через полвека после революции 1917 года на Афоне оставались единицы русских монахов. Но и они выстояли.

Чтобы попасть на Афон, требуются две визы: греческая, поскольку это греческая территория, и собственно афонская, потому что это автономная монашеская республика со своим управлением и своими законами. И потом убедились мы: полиция на берегу под каждого монашья греческая, под греческим флагом справляет она свою службу, но придана для охраны и внушения приезжим местных нравов в том случае, когда о них забывают.

Мы ехали втроем: Савва Ямщиков, известный искусствовед, реставратор и в последние годы писатель, в любом конце планеты через полчаса отыскивающий знакомых; Анатолий Пантелеев из Санкт-Петербургского университета, неутомимый кино- и фотолетописец почти всех патриотических событий в России на протяжении лет тридцати, и аз грешный. Поездку нам облегчила дружеская помощь советника российского посольства в Афинах Леонида Решетникова. Десять лет назад мы сошлись в Болгарии, где он тогда работал, побывали в одном из монастырей под Софией и, вдохновившись, решили непременно съездить на Афон. Из Софии до Афона рукой подать, из Москвы подальше, а из Иркутска совсем далеко. Потребовались годы и годы, чтобы собраться. Но вот они позади, на посольской машине мы катим из Афин в Салоники, там пересаживаемся на консульскую машину и в день добираемся до курортного приморского городка Уранополи, где к нам присоединяется Максим Шостакович, сын композитора и сам хорошо известный в мире дирижер. Уранополи — край Большой земли, дальше — по воде. Утром мы поднимаемся на паром под названием «Достоинство есть», Анатолий Пантелеев, не медля ни минуты, хватается за кинокамеру, как только по левому борту обозначаются каменистые афонские берега, и тут же перед ним вырастает служитель порядка и объясняет, что кинокамера на Святой Горе запрещена повсеместно без всяких исключений, а на фото природу — пожалуйста, но в монастырях и тем более в храмах — тоже нельзя. И потом на каждом шагу приходилось нам встречаться с особыми и нестареющими, как были они приняты тысячу лет назад, афонскими установлениями. Нравятся они или не нравятся, а будь добр выполнять. Никаких неудобств это, надо сказать, не доставляет, а беспрекословное подчинение древним законам невольно даже и возвышает, обдаёт дыханием вечности.

Тут все «достойно есть».

Афон, случается, называют островом — должно быть, из-за труднодоступности его по горным тропам из греческой Фракии, откуда длинным трезубцем уходят в Эгейское море вытянутые гористые отросты. Один из них, восточный, и есть Афон, тысячелетнее царство двадцати православных монастырей. Скалы преграждают путь к нему сразу же по выходе в море, на другом конце этого отроста-полуострова величественно высится Айон-Орос, Святая Гора, поднятая от подножия более чем на две тысячи метров. Издали она кажется необитаемой, однако в ясную погоду на вершине ее видна церковь, а склоны при приближении оказываются утыканы норами-пещерами, где, непонятно как выживая, многими столетиями искали себе сверхсурового жития монахи-пустынники. Святая Гора дала название всему Афону; на афонских иконах над нею и простерла свой защитный плат-омофор Богородица. Это Ее земной удел, здесь Она проповедовала местным жителям Евангелие. Предание говорит, что по жребию между апостолами предстояло Ей это служение в Иверской земле (в Грузии), но уже с дороги волею небес направлена была Богоматерь сюда и стала просветительницей и защитницей Афона.

Из конца в конец по каменистому гребню, спадающему по бокам к берегам, протянулся Афон на сорок километров, имея в поперечнике от восьми до двенадцати километров. Сверху смотреть — точно звезды небесные, срываясь, засеяли эту землю и дали волшебные всходы — монастыри и скиты с устремленными к небесам маковками церквей. А вокруг них выбиты в камне виноградники и огороды, и от одного монастыря к другому проторены узкие, нередко нависающие над ущельями лесные тропы. Тут всюду древние, переплетающиеся, как морщины, стежки-дорожки, тут от молитв все кажется живым, молвящим, и воздух сладостно насыщен молитвами, как запахами весеннего цветения.

Первые русские иноки поселились на Афоне в глубокой древности, возможно, еще до принятия христианства князем Владимиром. Выбор веры с направленными в разные стороны послами — это только легенда, должная украсить сам акт крещения: задолго до того христианкой стала княгиня Ольга, бабушка Владимира Святославовича, христианская община в Киеве с каждым годом разрасталась, по преданию, в своем апостольском служении Андрей Первозванный доходил до онежских вод и новгородских земель. Тесные связи с Царьградом не могли не убеждать, что под размер плавкой русской души ничто другое и подойти не может, кроме «радостной», уносящей на небеса византийской веры. И делом Владимира Святославовича было закрепить своей великокняжеской волей этот зов восприимчивости и придать ему окончательный характер. Сомнений в том, что эта вера и есть своя, родная, к тому времени, думаю, не оставалось, Новгород же бунтовал не потому, что предпочитал мусульманскую или иудейскую, а потому, что глубоко врос в свою старую, языческую.

Историю русского иночества на Афоне обычно начинают с 1169 года, когда актом Верховного управления Афонской горой русским, обитавшим в скиту Ксилургу, был передан во владение небольшой захудавший монастырек «Фессалоникийца». При этом подразумевается, что русских в Ксилургу было немного и пребывание их там длилось недолго. Но скит Успения Богородицы (Ксилургу) упоминается в актах управления с 1030 года, и позднейшая (1142 года) опись имущества в нем, в том числе рукописных книг и церковной утвари, не оставляет сомнения: русские здесь обретаются давно и отличаются высокой христианской культурой. По акту выходило, что это одна из самых крепких обителей. И монастырь св. Пантелеимона передавался русским не для облегчения их участи, а для спасения вконец обезлюдившего монастыря. При этом и Ксилургу как скит оставался за русскими же, которые частью переходили в монастырь и частью оставались в скиту. Уже в XV веке преподобный Нил Сорский, основатель русского скитского жития, именно здесь, в Ксилургу, среди богатого книжного собрания и практического монашеского «умного делания» пожинал духовную жатву, которую и перенес затем за Волгу.

Были в истории Свято-Пантелеимонова монастыря совсем скорбные страницы, когда русских оставалось здесь раз-два и обчелся и почти вся братия состояла из греков или сербов. Были времена, когда не оставалось ни одной души и Русик держал свое имя только в надежде на будущее. После татаро-монгольского нашествия, во времена которого всякая связь с Русью оборвалась и всякая поддержка иссякла, удались полтора века благополучия, особенно заметного при Иване Грозном, который, считая себя по бабушке Софье Палеолог наследником византийских императоров и византийской веры, был щедр к Афону. Затем



Смута, снова полная оторванность от России, снова крайняя бедность монастыря, дошедшая до того, что пришлось закладывать едва ли не все его имущество. Затем «просвещенный» XVIII век, оказавшийся для Руссика не легче времен татар и Смуты. Побывавший в 1726 году на Афоне киевский паломник Василий Григорович-Барский застал в Свято-Пантелеимоновом всего четырех монахов — двух русских и двух болгар. Спустя столетие последние насельники оставили Горный Руссик и спустились на побережье, где в течение нескольких десятилетий обустроивали новый, теперешний Свято-Пантелеимонов — самый красивый и величественный на Афоне. Почти два столетия с тех пор минуло, но и сегодня каждый монах назовет имена попечителей и строителей этого монастыря — игумена Савву, князя Скарлата Каллимаха, иеромонаха Аникиту (в миру князь Ширинский-Шихматов), иеромонахов Павла и Арсения. Последний несколько раз ездил в Россию за «милостынными» сборами, которые составляли немалые средства.

Вторая половина XIX столетия при царствовавших Александре II, Александре III, а затем и Николае II стала для Русского Афона воистину «золотой». Потекли пожертвования, из казны ежегодно выделялось на афонские нужды по сто тысяч золотых рублей. Хорошим тоном считалось посещение Афона великими князьями — разумеется, с богатыми дарами. В 1902 году закончено было сооружение самого большого на Афоне собора в Андреевском скиту, который по богатству и числу насельников вполне мог войти в число монастырей, когда бы не старинное и неукоснительное правило не переходить за черту имеющихсся двадцати. В начале XX века только в обители св. Пантелеимона насчитывалось две тысячи монахов да почти две тысячи рабочих, а вместе с Новой Фиваидой, Андреевским и Ильинским скитами, вместе с келиотами (обитатели келий) и пустынниками русских монахов в то время было за пять тысяч — больше, чем всех остальных, вместе взятых.

Ну а затем — революция, гологоф Русской Церкви, полностью прерванное с Россией сообщение, забвение и нищета, потерянные все до единого скиты. В 1968-м в Свято-Пантелеимоновом монастыре оставались восемь насельников. В том году он дважды горел, запустевали огороды и пасеки, омертвевали мастерские.

В соборе Покрова Богородицы показали нам совершенно потемневший, «угольный» образ Спаса. Он почернел в неделю в июле 1918 года, в те дни, когда зверски была уничтожена в Екатеринбурге царская семья. Известие об этом злодеянии дошло до Афона позже, а тогда, ничего не понимая и пугаясь, пытались очистить, проявить нерукотворный образ Спасителя на иконе — нет, в безысходной скорби он так и остался навсегда темным.

Сейчас в нашем монастыре 55 насельников. Есть и пребывающие за монастырскими стенами, изредка спускающиеся с гор, но их немного. В невероятно суровой аскезе, в беспрерывной молитве (в «беспрерывной» не ради красного словца, есть труженики молитвы, не оставляющие ее ни на час), вымаливавшие Россию и, может быть, вымолившие ее, они ушли в вечность. И теперь гостям-паломникам показывают только места их обитания — в землянках, пещерах, в дуплах вековых дубов и платанов.

Через полтора часа хода вдоль афонского берега, густо забросанного отслоившимися от скал валунами, древними до того, что в сердцевине их видна желтоватая крошка, по левому борту показался и наш монастырь, до боли сердечной узнаваемый по открыткам и рассказам, словно вдруг приподнявшийся, оборотившийся к нам приветливо золотом своих многочисленных главок. «Достойно есть» так мягко прильнул своей широкой кормой к причалу, что не почувствовалось и толчка. Мы были единственными, кто сошел здесь, поэтому встречавшему нас монаху не пришлось гадать, кто его гости. Он быстро и решительно подошел, представился отцом Философом и так же решительно, но не торопясь, обычным своим спорым шагом повернул вправо и повел нас вдоль длинного, казавшегося приземистым пятиэтажного здания, вытянутого по берегу моря. Мы отставали; о. Философ приостанавливался, давал нам приблизиться ровно настолько, чтобы не вступать в объяснение, и устремлялся дальше.

В этом здании располагался фондарики — гостиница для поклонников. Здесь особый язык: многое из того, что носит греческие названия, за столетия было подвергнуто русскими насельниками под свое произношение. Так, архондарик превратился в фондарики, а поклонниками ласково называют паломников, которые едут не только интерес свой удовлетворить, но и поработать, помочь монастырской братии. Но прежде всего — молиться и молиться.

В фондарики на верхнем этаже о. Философ покормил нас с дороги. Только дважды, в день

приезда и в день отъезда, приглашали нас за этот небольшой гостевой стол возле окошечка в кухню, откуда и подавались незамысловатые блюда. Обычно же, как и полагалось в определенные часы, кормились мы в общей трапезной вместе с братией, под чтение из святых отцов и торопливый и строгий чин вкушения пищи. Бесед здесь за столом не ведут; общая молитва, перестук ложек под голос чтеца, снова общая молитва — все деловито, размеренно, движение в движение, локоть в локоть. Мы были на Афоне в марте, в Великий пост, когда воздержание и молитва для братии превращаются в самое дыхание. По средам и пятницам трапеза — только раз на дню. Но пища сытная, по воскресеньям предлагается вино.

Нас о. Философ, называемый здесь фондаричным, или гостиником, что входит в обязанности эконома, на скорую руку покормил овощным салатом, обильно политым оливковым маслом, и чечевичной кашей. В избытке был мед. Засиживаться не пришлось, все в монастыре, за исключением церковных служб, делается в заведенном хорошем ритме — как по часам особого хода, ускоряющим движение стрелок между службами и замедляющим их в долгие часы молитвенного стояния.

Но Афон действительно живет по особому — византийскому — времени. С заходом солнца стрелки часов переводятся здесь на полночь, и начинаются новые сутки. На выходе из фондарика на стене слева висят рядышком совершенно одинаковые часы современной круглой формы: на одних — европейское время (это для гостей и паломников), на вторых — византийское, древнее, при котором жили еще отцы церкви. Самое большое расхождение, естественно, зимой, в короткие декабрьские дни, самое малое — в летнее солнцестояние. Монахи шутят, показывая на те и другие часы: одно время торгашеское (это европейское), а второе — Божье. Это непривычное и, казалось бы, неудобное существование во времени, когда утро наступает без утра, а ночь является при свете, хоть и заставляло блуждать между Грецией и Византией, очень меня, однако, воодушевляло, как доказательство того, что я и в самом деле попал в глубины таинственной древности, которая только что приняла благодатную веру и примеривает ее на народы. Подолгу порой ничто не опровергало этой уверенности: море, во все дни тихое, чуть колеблющееся под волной, каменные развалины какой-то допрежней цивилизации, счастливо найденное пристанище человека в новых градах под водительством мудрейших и святейших, доносящееся со службы хоровое пение, сладко звучащий колокольный звон...

Моя келья в фондарике была, как и полагается, бедна. Вытянутая к единственному, глубоко сидящему в крепостной стене окну, она и не позволяла иного, чем было передо мной, расположения обстановки: узкая кровать с панцирной сеткой справа от окна застелена суровым суконным одеялом, над головой — простенькие картонные иконки, слева — повисавший видо ободранный столик, на нем — лампадка. И ни табуретки, ни стула. Однако, заглянув в келью к своему товарищу Анатолию Пантелееву, я обнаружил у него целых три стула. Подобной несправедливости от Афона нельзя было ожидать, и один стул, который даже в светской гостинице смотрелся бы неплохо, немедленно был мною присвоен. Электрическая лампочка над входной дверью в моей келье тусклая, незаметная, я ее только на третий день и обнаружил, да в ней и надобности не оказалось, ибо при свете и солнце электричество ни к чему, а с заходом солнца в византийскую глухую полночь оно выключается.

Бедность бедностью, но зато какая благодать! Окно выходит на море, и волны недремно бормочут и — качают в те недолгие часы, когда падаешь в кровать и укрываешься монашеским одеялом. Ночью под захлебывающийся звон колокольца, которым поднимают на службу (теперь уже, как во времена Бориса Зайцева, не бьют в било, а обегает с голосистым колокольчиком все коридоры), — ночью, поднятый со сна, вздущь лампадку, заправленную оливковым маслом, и так хорошо сразу станет от душистого трепетания фитилька. Длинным-длинным коридором, в конце которого над дверью душевой и туалета едва мерцает световой квадратик, ощупью нашариваешь ногами выход, слышишь вокруг торопливые шаги и выбираешься наконец под звезды и колокольный звон.

Наш фондарик, как и все второстепенное, вспомогательное, как склады, мастерские, костница (особого рода кладбище почивших, которые после кончины оборачиваются в холстины и безгробно опускаются в могилы на три года, а затем черепа и кости их изымаются, промываются вином и на полках аккуратно складываются в помещении, называемом костницей) — все это и многое иное из подсобной службы вынесено за стены собственно монастыря. Здесь тоже монастырь — во имя живота. А уж дух там — за толстой каменной

оградой, где уже и неземная обитель, где все тесно заставлено «божьем», говорящее Его языком, чистое, бескорбное. Два собора в монастыре: в центре монастырского квадрата — целителя Пантелеимона и в глубине, слева за звонницей, над широкими лестничными проходами — поднятый по-над морем собор Покрова Богородицы. И более десяти параклисов — домовых церквей. Последняя из них — во имя Еввулы, матери целителя, достраивалась при нас. Тут же, во внутреннем монастырском городке, библиотека с хранилищем древностей, покои игумена и духовника, общежительный братский корпус. Напротив главного собора — трапезная, удивляющая размерами, широко распахнутая во все стороны, с могучими деревянными столами в несколько рядов, с тяжелыми длинными скамьями... Видно, что ставилась трапезная во времена многолюдья. Сейчас она не заполняется и на четверть.

На знаменитой звоннице по-прежнему самый большой и самый звучный на Афоне колокол, не тот, которым восхищался Борис Зайцев (в 818 пудов; его в войну немцы отправили на переплавку), но и теперешний «перепоеет» любой другой. А под звонницей и все иное устроено и настроено, как в слаженном и чутком инструменте: мягко шумит море, из одного из параклисов (и не понять, из какого) в сладкой муке звучит хор, слышится речитатив чтения, и ветер погудывает то ли в тесноте двора, то ли путается среди многочисленных переходов, коридоров, лестниц и галерей.

Еще при свете в первый же день мы успели на вечерню. Все тот же о. Философ привел нас в собор Святого Пантелеимона и указал стасидии, которые мы можем занять. Стасидии — это высокие узкие сиденья с подлокотниками, облегчающие многочасовое стояние на ногах. С моего места у боковой стены перед колонной в переднем приделе храма не видно было чтецов, на два голоса читающих у клироса; я вслушивался, но в полумраке, густо и недвижно стоящем воздухе и слышно и видно было плохо; монахи рядом соскальзывали со стасидий, бросались на колени и распластывались на полу. Я повторял их движения слепо и неловко, опаздывая, громко стуча коленками. Но это продолжалось недолго, служба как бы отыскала меня, подхватила, помогая узнавать и понимать все ее движения, стало легко и радостно, нахлынул восторг, что наконец-то я здесь, куда нельзя было не приехать.

Вечерня продолжалась часов пять, глухой ночью мы вернулись в свои кельи, я постоял перед окном, вслушиваясь в колышень моря, затем с чувством необычайной легкости и освобожденности от всего-всего, что еще недавно теснило меня, не возжигая лампадки, разделся и лег. Так хорошо, так покойно и уютно! Сонная волна лизала берег неравномерно, музыкально, чуть взбулькивая на пятом или шестом касании. В коридоре ни звука. Неужели там, откуда мы приехали, в больших городах огромной несчастной страны, в городах, превратившихся в скопища зла, продолжают сейчас визжать и кричать с экранов, изощряться в пошлости и бесстыдстве, лезть грязными руками и грязными словами в душу, зазывать в бесконечные игры и викторины с призами... Нет-нет, ничего больше нет и не будет. Так хорошо!

И только закрыл я глаза — над самым моим ухом раздался требовательный гром; показалось, что бухнул сурово большой монастырский колокол. Он обратился в колокольчик, как только я пришел в себя, с суматошным трезвонком пронесся по нашему третьему этажу, спустился на второй или поднялся на четвертый, потом снова на нашем встряхнулся с силой два-три раза, давая знать, что побудка закончена. Вот тогда и ударил вполголоса глухим боем монастырский царь-колокол.

В коридоре послышались первые шаги. Я вышел; в полной тьме далеко вправо висело тусклое световое пятно. Вытянув на стороны руки, чтобы не натолкнуться на стены, делая ими движения вроде гребков, я двинулся к нему. На обратном пути слабые мои глаза уже и совсем ни на что не годились. Пришлось окликать Толю Пантелеева, келья которого находилась напротив выхода. Впереди, со стороны моей кельи, отозвался Савва Ямщиков. Дозвались Толю и выбрались на улицу. Шел снег. Снова валко ударил на монастырском дворе колокол, сбивая с нас остатки сна, и мы заторопились. Чуть больше двух часов отпущено было пастве на отдых, и вот снова служба, снова подготовка себя к освобождению от всего ненужного, мирского, отяжеляющего — словно бы вход в невесомость. Храм в полутьме курится свечами, тускло блестит золото икон, едва слышно пробираются к стасидиям припозднившиеся, шелест общего движения, когда соступают со стасидий и снова занимают свои места. Случаются дремлющие монахи, изможденные недосыпанием. Грех невелик, тяже-



ло монашеское тягло, да еще в Великий пост. Теперь шла вторая седмица Великого поста.

Служба здесь спокойней, строже и глубже, чем в миру. Нет непрерывных хождений, перемещений и волнений, когда передают свечки или пробиваются, чтобы приложиться к иконам. Свечи здесь храмовые, к иконам прикладываются после службы, вереницей проходя перед образами и мощами. Монах на службе старается быть незаметным, невидимым, у него все внутри, ничего внешнего. Он весь покорность и твердость. Твердость в вере и покорное подчинение всему, что она требует.

Меня удивило: исповеди перед причастием после многочасовой литургии здесь долги, и духовник, принимающий исповедь, редко когда подталкивает к продолжению. Какие, казалось бы, у монаха грехи, если, кроме работы и молитвы, он ничего не знает и, помимо общих, занимающих полжизни богослужений, существует у него еще и «келейное правило», разное в разных степенях пострижения, доходящее у схимника до полутора тысяч поясных поклонов (после молитвы поклон, после молитвы поклон — и так тысячу и еще полтысячи раз). Какие тут грехи, где их набраться? Но монашеское понятие греха далеко от нашего, едва ли не каждый из нас «чудище» в сравнении с ними. Но и в их подвиге самовоспитания, доходящем до самоистязания, и в их битве над телесным в себе находят они «недостойное», какие-то ухищрения и послабления, которые ставят себе в вину, какие-то ошибки в «правописании» души. И чем дальше инок в своей аскезе уходит от мира, тем требовательней он к себе становится.

В фондарики я не однажды встречал молодого, лет 25–30, человека с рыжей топорщащейся бородкой. Мы раскланивались в коридоре и расходились, он был явно не из праздных паломников, не из верхоглядов. Но на второй, кажется, день он подошел, представился и попросил меня прочитать несколько страниц его сочинения. Я не обрадовался: даже и здесь не избежать рукописей. Но тут и отказать было бы нехорошо. Девять страниц оказались до того плотно с обеих сторон уложены мелким машинным шрифтом (такой был когда-то у машинки «Москва»), что стоило немалых усилий раздвигать слова и понимать смысл. Это было горячее покаяние перед Господом. Я начал читать с настороженностью: уж где-где, а здесь, на Афоне, как бы излишним было, коли находилось время для сочинений, отдаваться этому жанру, потому что тут ближе и верней всего воспользоваться прямым обращением, не прибегая к литературной форме. Но чем дальше я читал, тем больше убеждался, как глубоко и искренне это покаяние, будто автор сдирает с себя влипшие глубоко в плоть рубашку за рубашкой, самосоткавшихся из несправедливой жизни и покрывшихся язвами, и все никак не мог добраться до дна... можно бы сказать, до дна своей падшести, но никакого особого падения он и указать не мог, а только раскрылись однажды широко глаза его и ужаснулся он миру, в котором пребывал и чувствовал себя в нем совсем еще недавно почти удобно.

Он из Москвы, бывший журналист. На Афоне уже полгода, надеется на постриг. Но решился он написать свою исповедь там, в миру, — не хватило бы слов: там их, годных для покаяния, остается совсем мало. Там мы в глубины свои не умеем или боимся заглядывать. А тут — уже через месяц-два точно раскрылись недра и истекли чистые чувства в облачении точного и неоспоримого языка.

«Знаешь ли, — вопрошает прошедший через этот опыт Константин Леонтьев, — сколько христианской воли нужно, чтобы убить в себе другую волю, светскую волю?..»

Он продолжает: «Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: «Его живит смиренья луч» (из стихотворения Аполлона Майкова «Ангел и демон». — В. Р.). Он, кажется, находил смысл его неясным.

Для меня (теперь) он очень ясен. Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во внутреннюю гордость; чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, кто мою неосторожную выразительность готов как раз принять за лицемерие... Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. Идеал искреннего, честного монаха — это приблизительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, семье, к спокойствию тела и даже к веселому спокойствию духа постоянному должны быть отвергнуты. Бесстрастие — вот идеал. Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока особого рода выразительность и силу... «Его живит смиренья луч...»

За несколько дней общения с монахами это не разглядишь. Это даже и не угадать так

скоро. Это удастся, быть может, лишь заподозрить... те же люди и не те, далеко ушли они от нас, но за всеми оставленными позади порогами, за всеми духовными и моральными победами встают новые испытания... и несть им числа.

Архимандрит Иеремия, игумен монастыря, постоянно бывал на службах, но стасидию свою покидал он редко: игумену исполнилось девяносто и был он слаб. Службу обычно вел духовник Макарий. На его же долю выпало исполнение многочисленных обязанностей по киновии (это и есть общежительный монастырь). А никакое — хоть большое, хоть малое — дело без благословения здесь не делается. Константин Леонтьев в одном из своих писем рассказывает, как ему хотелось прочесть завезенную кем-то из паломников духовную книгу, о которой он был наслышан. «Но без благословения нельзя. Старец, заменявший духовника, особый наставник иноческой жизни, благословение не дает. Да еще и прибавляет: «Не понесешь ты этой книги», то есть она не для твоего слабого ума. И что же — обижаться на старца? К. Леонтьев рассуждает, как и надобно здесь рассуждать: «Быть может, этот монах, который назвал меня легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого наверняка, и потому лучше думать, что он прав».

У духовника, иеромонаха Макария, мы дважды были на беседах в его приемной, имели возможность наблюдать его в длинные ночные службы, исповедовались у него — и он нам нравился: спокойный, немногословный, с воодушевленным, доброжелательным и бескровным лицом, какие бывают при постоянном воздержании. Ему и угадывать не надо было: после двух дней монастырского «сидения» нам не терпелось на простор Афона, и прежде всего Русского Афона. Мы были паломниками, не более того, однако из разряда обыкновенных паломников нас отличало то, что любопытство наше витало над всем Афоном, над настоящим его и прошлым. Но каждый день пробрасывало снег (это в марте-то в Греции-то!), а на третий, последний из отведенных нам здесь, он залег с ночи в горах сугробами. Мы совсем приуныли. А после всенощной вышло солнце, потеснив над нашим монастырем собирающиеся в валы белые тучи, и все тот же о. Философ, умевший быть незаметным и появляться в самые необходимые минуты, после трапезы показал нам за оградой монастыря небольшой грузовой джип и решительно махнул рукой в сторону гор. Показалось, не нам, а джипу.

Мы поехали. Недолго по бетонке вдоль моря, затем за нововыстроенным гаражом, показывающим, что монастырь начинает поднимать из разрухи свое хозяйство, сразу в горы и снега. Каменистая дорога подтаивала дымящимися пятнами, справа сходил лесной склон, а слева глубоким обрывом лежала пропасть. Машина ползла по самому закрайку обрыва. Шофер наш о. Никодим, выходец из русского Казахстана, крепко сбитый молодой человек, весело и с готовностью отвечающий на вопросы, вел машину так уверенно, что она не смела



В. Г. Распутин



«шались» в его твердых руках. Потом, когда миновали пропасть, потом — да, могла и забуксовать в снегу, и заюзить, и взбрыкнуть на камнях.

Великолепное это было зрелище. Белым-бело не только по земле: залеплены снегом могучие дубы и платаны, в наметах стоял кустарник, удивленно, словно глаза продравши, выглядывал из-под снега цветущий миндаль. Снег лежал в волшебном белом сиянии, заставлявшем все ровно и невесомо, не встряхиваясь, не загораясь от солнца. Но часа через два, выйдя из русского Андреевского скита, не принадлежащего теперь русским, и приостановившись возле створа, с которого широко и обширно спадала низина, мы обмерли, не умея ни назвать открывшуюся картину, ни понять, где мы, с какой стороны свод небесный и где земля. Вся низина, застеленная бело-голубым снежным покровом, искрила, пыхала под солнечными стрелами, вся она колыхалась-дышала, кружилась, и огромный красавец собор, тоже белый и тоже искрящийся, казалось, повис в воздухе — в таком все вокруг было волшебстве.

Но прежде мы побывали в Старом Русике. Его еще называют Горным в отличие от теперешнего, стоящего на берегу моря. Это он и был передан русским в 1169 году, сюда и переселились насельники из Ксилургу. Многие сотни и сотни лет этим каменным стенам, все еще сохраняющим величественный вид, этой огромной чугунной двери, открывающейся теперь редко, но кажущейся еще прочнее. Без единого следа лежит перед нею снег, близко придвинулись сосны, березы, тополя. Отец Никодим выбрался из машины и, задрав голову, дважды прокричал в монастырскую высоту:

— Отец И-о-на!

И рывком отворил могучую дверь. Навстречу нам торопился и сам хозяин, единственная человеческая душа обители, о. Иона, сторож и смотритель Старого Руссика. Савва Ямщиков, взглядевшись, немедленно признал в нем прежнего насельника Псково-Печерского монастыря при игумене Алипии. Пришлось нам прежде выслушать восторженные воспоминания об этом необыкновенном человеке, воине и строителе, мудром наставнике братии и бесстрашном воеводе в отношениях с властью, поднявшем из руин и превратившем в «картинку» Печеры. Поговорили прежде о нем, а уж потом окунулись, где были, в древнюю и все еще живую глухомань Старого Руссика. Пятнадцать лет живет тут в одиночестве о. Иона по послушанию, которое, быть может, сам же и выпросил у игумена. Затворничество его тут неполное и удобное: то к нему приезжают, привозят гостей, поручения, то сам спускается к братии на праздничную службу.

74 года, на ногу скор, глаза быстрые, нисколько не горбится. Сразу повел нас из пустоты и разрухи нижнего этажа по широкой металлической лестнице наверх, в знаменитую башню, пиргу, где собраны теперь воедино, чтобы легче было присматривать, и старинные иконы, и утварь. Здесь же, по всему судя, устроен и быт о. Ионы. А ведь знаменитая была башня, самая яркая историческая достопримечательность Старого Руссика, откуда затем пошли и укрепление его, и слава. О. Иона тут же, не мешкая, принимается рассказывать эту историю, да с таким воодушевлением, что невольно выдает в себе еще и экскурсовода, которому время от времени приходится считывать с этих стен событие, описанное в Афонском патерике. Он то подбегает к окну в глубине башни, к окну, тоже участвовавшему в событии, то отбегает к двери и указывает рукой вниз, откуда должно было доноситься в решительный час пение всенощной.

Рассказывал он из жития святого Саввы, архиепископа Сербского. Звали будущего святого Растко (от Ростислава), и был он сыном сербского господаря Стефана. Дело происходило в конце XII столетия, наш Руссик тогда только-только обживался. Каким-то промыслительным случаем судьба свела юного Растко с монахом из Руссика; шел русский инок по сербской земле и повстречал княжича Растко. Повстречались — и рассказал путник об Афоне и русском монастыре словами самыми умильными и красивыми. Растко восхотел побывать там немедленно. Он объявил домашним, что едет на охоту, а сам с русским иноком поскакал на Афон. Прошел день, миновал другой — нет с охоты княжича. Могущественный господарь призвал воеводу и приказал разыскать сына, где бы он ни был, и доставить домой. По следу русского монаха воевода с отрядом кинулся на Афон. Там, в церкви Руссика, Растко и обнаружили. Княжич поначалу умолял воеводу не возвращать его и дать ему возможность исполнить то, что просит душа. Воевода, разумеется, не согласился. Тогда Растко пошел на хитрость. Он попросил игумена устроить трапезу для своих соотечественников и посвятил его в свои планы. Игумен долго молился, прежде чем согласиться с отроком, но ведь не

дурное же княжич замышлял, не от отца же он отрекался, отдаваясь Отцу Небесному. Это было в канун воскресенья, началась всенощная, она перешла в утреню. Утомленные дорогой и обильной трапезой, воеводские дружинники задремали в стасидиях. Растко беззвучно отошел от них и поднялся в пиргу, где, не медля, произнес иноческие обеты. Священник обрзал ему волосы и облек в монашескую ризу.

Воодушевление о. Ионы достигло предела, точно при нем это и происходило. Та же была пирга, тесно, как склад, уставленная остатками имущества Старого Руссика, то же окно, которому предстояло сейчас сыграть свою роль, но наглухо теперь закрытое, и, по-видимому, навсегда.

— Здесь Растко стал Саввой, — с чувством произнес о. Иона и прислушался: всенощная закончилась, воеводская дружина очнулась и, бряцая оружием, выкрикивая проклятия, ищет Растко. Но нет больше Растко. Тот, кто был им, высовывается в окно и кричит им: «Подождите до утра и увидите меня!» Пришлось ждать до рассвета. А на рассвете в окне, вот в этом окне, — о.Иона поклонился в сторону окна в глубине башни — показался в этом окне юноша в облачении ангельского вида и крикнул: «Сделавшееся со мной угодно было Богу!» И выбросил вниз, на землю, свою княжескую одежду, добавив, чтобы родители не беспокоились о нем, а радовались.

Вошел о. Никодим и стал торопить нас: мы только начали свое путешествие, а солнце уже оборачивалось к западу. До заката нам следовало вернуться в монастырь, это правило не имело здесь исключений.

— Тут вся Россия была с нами, — торопливо говорил о. Иона, размахисто разводя руки, когда мы уже прощались возле машины. — Тут все из России. И сосны эти, и березы, и тополя... Землю в мешках везли на огороды. И пруды заводились по-нашенски... — Он говорил так, будто жил здесь от начала монастыря, все восемьсот с лишним лет его истории.

Если Старый Руссик как бы естественно отошел в прошлое, послужив русскому монашеству верой и правдой сотни и сотни лет, и грусть обвевает это древнее пристанище молитвенников могильной скорбью заслуженно, то совсем по-другому чувствуешь себя в Андреевском скиту. До него и было недалеко, мы доехали от Старого Руссика минут за двадцать. Перед крепостной оградой, нисколько не уступавшей по прочности стен старинным сооружениям, спешились, выйдя из машины, помешкали, подготавливаясь к встрече и оглядывая бесконечное снежное царство, и уж затем прошли в скитский двор. И сразу встал справа во всю свою красу и мощь величественный собор, поставленный в честь апостола Андрея Первозванного, богато украшенный, принявший святыни и торжественное облачение всего-то сто лет назад. Даже и здесь видно, что Россия входила в XX век, несмотря на революционную «кость в горле», богатырскими шагами (тот же Трансбик к Тихому океану за десять тысяч километров, то же переселение миллионов и миллионов с западных на восточные земли и т. д.). А на Афоне — вот он, Андреевский собор, «столп и утверждение истины», непоколебимая ступень к Богу. Собор воздвигался попечительской поддержкой царской семьи, с его освящением русская братия на Афоне составила почти половину всего афонского насельничества. И всего-то полтора десятилетия благополучного жития-бытия. Затем мировая война, затем революция, связь с Россией полностью прекращается. В 1971 году почил последний монах. Умолкли колокола, двор стал зарастать травой, запустение пошло на приступ церковных стен, проникло внутрь, наложило свою печать на все недавнее соборное великолепие. И, конечно, неминуемое разграбление, вывоз богатств и святынь неведомо куда.

В 1992 году скит заняла грекоязычная братия. На Афоне такой порядок: скиты ставятся на землях монастырей (Андреевский во владениях греческого Ватопеда), и в том случае, если скит оставляется насельниками, он становится собственностью землевладельца. Та же участь постигла наш Ильинский скит, там не обошлось даже и без насилия: после русских из России в Ильинском поселились монахи из Русского зарубежья, а они по каким-то казуистическим причинам, исходившим не то от Протата (собрание представителей всех двадцати монастырей), не то от Константинопольского патриарха, которому подчинен Афон, были выдворены, и скит подвергся разорению. Впрочем, теперь и монастыри тоже, за исключением нашего Свято-Пантелеимонова, оставлены прежними владельцами — болгарами, сербами, грузинами, молдаванами... Остаются единицы, вливающиеся в грекоязычную братию, — именно в грекоязычную, овладевшие языком, в которой могут быть выходцы и из Западной Европы, и из Америки, и из Китая.

Нам открыл собор финн о. Иосиф. Благожелательный, симпатичный, с аккуратно подстриженной русой бородкой, говорящий и по-гречески, и по-русски. Сказал, что здесь всегда рады русским, приезжающим поклониться своей прежней обители, пригласил нас в служебную часть скита, угостил вином и кофе.

А собор, оживленный новыми насельниками, не потерял ни русскости, ни богатырской стати и сановитости. И в стенах его наверняка осталась память о тех, кто его строил, освящал, искал спасения и благодати. Главная святыня в храме — благоухающая лобная кость апостола Андрея Первозванного. Золото Царских врат, устремленные в земные и небесные глубины глаза с иконных образов старого письма, высокий поднебесный купол, могучие колонны... И финн, старательно выговаривающий русские слова, угощающий нас вином с виноградника, разбитого когда-то русскими монахами.

Вот это, в отличие от Старого Руссика, неестественно и больно.

Мы пересекали Святую Гору поперек — с западного берега, где наш монастырь, через Старый Руссик и Андреевский скит в горах, на восточный берег, где Иверский монастырь, дом чудотворной иконы Иверской Божией Матери. Карая, небольшой городок, административный центр монашеской республики, где заседает Протат, был у нас на пути, мы даже краешком задели его, разглядев торговые лавки на узких улочках, но решили заехать сюда на обратном пути. О. Никодим, должно быть, не сомневался, что и на обратном пути не заедем, потому что надо будет торопиться до захода солнца в свою обитель, но не стал нас заранее огорчать.

И вот мы перед Иверской, чудотворной и почитаемой Православной Церковью иконой. По преданию написана она, как и Владимирская Божия Мать, евангелистом Лукой. Икона большая, в полтора метра, образ, несмотря на древность, светлый, с живыми чертами, внимательно и неустанно всматривающийся в каждого, кто подходит. Богатый, изукрашенный цветными камнями киот несколько не теснит образ. Под ним горкой, да и немалой, навалены драгоценности, дары получивших исцеление и просветление. В храме тишина, сумрак; кроме нас — никого. Монах, сопроводивший нас и показавший ранку на образе, след от удара копьем, вышел, чтобы не мешать нам отдаваться чувствам. Это даже и не чувства, а до жути сладкое и восторженное проникновение (попытка проникновения) в глубь тайны тех времен, когда мир чудесно освятился новыми знаменами и с радостью шел во имя их на любые страдания. И как не полчаса ли не находили мы сил, чтобы оторваться от образа, одно ликозрение которого, одно прикосновение к коему можно считать за чудо. О, Матерь Божия, Игуменья Афонская, не остави нас, ступивших в Твой предел, своей милостью...

Иверская Богоматерь сама выбрала местом своего пребывания этот монастырь. Прежде, более тысячи лет назад, она находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ Константинополя. Это было начало IX века, опять, как и за два столетия до того, разразилось иконоборчество. Ночью к вдове ворвались царские воины, и один из них, по имени Варвар, ударил в образ Богоматери копьем. Ударил и с ужасом увидел, что там, куда пришелся удар, над подбородком с левой стороны, выступила кровь. От страха Варвар пал на колени, потом бежал.

Спасая икону от новых варваров, вдова вынесла ее к морю и опустила в волны в надежде, что они вынесут ее к безопасному берегу, где и обретет ее столь же, как и она, благочестивый человек. Но икона вдруг встала в воде в рост и «пошла». Сомнений не могло быть: не волны несли ее, а она решительно пересекала волны, зная, куда идти.

И пришла на Афон к Иверскому монастырю. В море неподалеку от берега поднялся огненный столб, возвещая ее прибытие. Начались чудеса. Там, где опускали ее на землю, пробивался родник; ей определяли место в храме, а она раз за разом оказывалась над монастырскими вратами, показывая, что ее служение и положение здесь — быть во главе монастыря. Впоследствии для нее выстроили церковь. Икона Иверской Божией Матери, которую называли еще и Вратарницей, принесла монастырю небывалую славу и почитание. Здесь, под ее защитой, заканчивали свои дни константинопольские патриархи, сюда из последних сил добирались скорбные и увечные. При царе Алексее Михайловиче был сделан и доставлен на Русь тоже являющийся многочисленным чудеса список Иверской, помещенный в Новоспасский монастырь.

Надо сказать, что спустя пятнадцать лет после того, как икона Иверской Богоматери поселилась на Афоне, сюда же, в Иверский монастырь, после пострига пришел замаливать свои грехи бывший воин Варвар.



Всякие времена случались на Афоне — и благополучные, спокойные под молитвой и трудением, и смутные, и совсем уж гибельные. В 1821 году вспыхнуло греческое восстание против турок. Оно было жестоко подавлено завоевателями. «Кровь христианская лилась рекой от изуверства турок» — фраза эта взята целиком из жизнеописания одного из афонских монахов. Тысячи, десятки тысяч греков бросились в поисках спасения на Святую Гору. В декабре того же 1821 года на Афон вступила турецкая армия. Накануне Кинот, он же Протат, принял решение, позволяющее монахам оставить Афон. Ушли не все — дорожке жизни для многих были судьбы родных обителей. Спасать, оберегать их пришлось от двойного разбоя — от турок, захвативших монастыри и заставлявших монахов служить им и платить дань, рыщущих постоянно повсюду в поисках золота, и от доведенных до отчаяния голодом, холодом и бездомностью греков.

В жизнеописаниях того времени остались свидетельства, как занявшие Иверский монастырь турки требовали у оставшейся братии драгоценности с иконы Богоматери. «Берите сами, — отвечали монахи. — Берите, если не боитесь. Вон сколько на нашей Матушке-Игуменье богатства — и золота, и серебра, и драгоценных камней! Если вам угодно — снимайте!» Но турки, топчась в дверях церкви, не смели: «Мы не можем к ней подступиться, вон как она на нас сердито смотрит!»

В те годы порой отчаяние и тревога монахов доходили до того, что и последние из них готовы были оставить Святую Гору. Удерживала она, Иверская. Было «извещение» от афонской Игуменьи: «Пока моя икона будет находиться в Иверском монастыре, ничего не бойтесь... А когда изыду из Иверского монастыря, тогда каждый да берет свою торбу и грядет куда знает». Каждую неделю спускались с гор проверять: здесь ли Она, Владычица их и Помощница? И, застав ее на месте, возвращались ободренные и готовые претерпевать все, что грядет впереди. И так продолжалось до той поры, пока турки не оставили Афон.

...А мы, покидая Иверон, зашли еще в монастырскую лавочку, взяли образки Иверской и небольшие посудинки с афонским медом. А на следующий день при отъезде и от Свято-Пантелеимоновой братии вручены нам были баночки с медом. Эх, афонский мед! Чуть горьковатый от трав и цветов, растущих под солнцем на камнях, темный, запашистый, принявший в себя молитвенный дух этой земли, долго держащий приятную сладость во рту, — такого пробовать еще не приходилось. Не ведал Владимир Солоухин, вздыхавший не однажды с огорчением и письменно и устно, что-де не остается в свете медов, не подпорченных примесями и добавками, которыми человек развращает пчелу, — не ведал он, что за меды сотворятся на Афоне!

Как и из кого идет монашеское восполнение монастыря св. Пантелеимона? Говорить о решительном восполнении пока не приходится: 55 иноков на столь обширную обитель, в которой сто лет назад насчитывалось в пятнадцать-двадцать раз больше, это, понятно, скромная цифра. Но и при скромном положении монастыря. Сыщись сегодня, как в XIX веке, князь Скарлат, который после исцеления у мощей св. Пантелеимона, как говорит предание, гнал «возы с золотом» на нужды обители, а затем и сам принял постриг, — случись сегодня такая фортуна, другой бы и счет был. Но приходится радоваться тому, что есть: покровитель у монастыря несколько лет назад все-таки сыскался и немало помог, но уж очень велики были к тому времени прорехи, чтобы прикрыться от них даже и вполтину.

Есть и кроме бедности причины, сдерживающие рост братии. Афон — суровое испытание даже и для подготовленных к испытаниям, особенно в первые месяцы и годы, когда всякие помыслы для себя надо решительно развернуть в обратное направление — для всех. И ничего для себя. «Только Бог да исчезновение в Боге» (Феофан Затворник) — так издавна обозначено здешнее служение; на жизнь смотреть сквозь смерть — такова заповедь аскетизма. Полное самоотречение, неусыпная молитва, особый «замок» в себе, недоступный для искушений, — это имеет и на это способен далеко не каждый. А потому и не каждого, решившегося на постриг, можно вести под ножницы. Константин Леонтьев год прожил среди братии, но так и не получил пострига. Правда, по другой, по «тонкой» причине (все «тонкое» означает здесь необъяснимое, внутреннее): разглядев хорошо Леонтьева, его глубокий ум и твердые взгляды известного к тому времени писателя и дипломата, должно быть, сознательно оставили для мира, для общественного служения. Позже он, как известно, принял постриг, но произошло это уже в России. А «тонкое» правило, сотканное из недоступных рассуждению мельчайших ощущений и предчувствий, известно на Афоне и сегодня, ибо ве-

роятность ошибиться в человеке сегодня больше, чем всегда, а потому строже и отбор. В случае неудачи здесь никого не держат: не выдержал, не помогает молитва, не ужился с братией — возвратят все, что вложил ты при поступлении в монастырскую кассу, и проводят на паром. По-прежнему узки пути и тесны врата к Богу. Узки и тесны, не всем впору.

Правда, существуют и другого рода препятствия к заселению русской обители. Понять их православному сердцу трудно, особенно теперь, на пороге грозящих Афону испытаний. Но что есть, то есть. Не представляет большого труда получить визу на Афон паломнику. Но монаху!.. Тут святогорские врата нередко замыкаются накрепко. Кто воздвигает препятствия, понять трудно — то ли греческие власти, то ли Константинопольский патриарх, то ли местный Протат... Одно ясно: такого благоприятствования русскому и славянскому монашеству, какое было на Афоне сто лет назад, сегодня нет и в помине. Надолго ли — как знать...

Больше всего насельников в Свято-Пантелеимоновом из российских монастырей. От строгости они ищут еще большей строгости и аскетизма. Есть фронтовики, как почти во всех монастырях, — по обету. Один из них стоял под расстрелом и чудом спасся; он стар и на общие бдения уже не поднимается. Второй входил в полумрак храма тяжело, с батожком, едва передвигая ноги, и исчезал в глубине стасидии. Потом я видел его, когда прикладывались к иконам. Все высматривал: встречу во дворе и заговорю, но не пришлось... Да, пожалуй, и заговорить бы не смог, он был дальше всякого интереса к себе, он был уже далеко.

Есть иноки из паломников и трудников. Подолгу живут, работают, проходят все степени подготовки к монашеству и погружения в него. Есть из рабочих, приехавших на заработки и склонившихся к новому бытию. Есть из бывших наших республик, нашедшие здесь духовный исток утраченной Родины. Есть судьбы обыкновенные и необыкновенные. Но это только в первые минуты знакомства: из монастыря в монастырь — обыкновенная судьба, а из мира, да с положением, с именем, с громкими заслугами — необыкновенная... А затем они быстро и естественно смыкаются в один путь, по которому направила душа, к одному служению, и уже не различить, кто откуда.

О. Олимпий пока еще отличается от братии тонкими чертами лица, словоохотливостью, правильной речью и эрудицией, совсем недавно вынесенной из мира. Там он был академиком, доктором технических наук, зав. кафедрой электроники и электротехники Московского технического университета. Автор известных всему миру учебников по компьютерной технике. И сошел со всех этих высот, побывав на Афоне паломником, оставил славу и звания где-то там, по ту сторону жизни... Оставил, быть может, и из чувства вины перед поруганным целомудрием Божьего мира, быть может, и себя считая причастным к этому вселенскому поруганию. Мы не полезли к нему в душу, хотя разговаривали долго и о многом. О. Олимпий провел с нами экскурсию: как прежде знал он свои науки, так знает теперь начала начал русского Афона и каждую святыню многочисленных церквей в Свято-Пантелеимоновом, все реликвии его и предания.

Обыкновенная или необыкновенная судьба? Вспомним И. Павлова, Д. Менделеева, В. Вернадского, многих других великих из научного мира, понимавших, что нет знания выше Святого писания и нет пути в сторону от Создателя. Сейчас тот и ученый, кто постиг эту истину, которая еще недавно отдавалась людям невысокого полета; впрочем, несчастная наша цивилизация, устроенная атеистами, доведена до столь очевидного результата, в такой мелкий грош превратилась человеческая жизнь, что не постичь ее, эту истину, теперь уже, кажется, и невозможно.

Для женщин Афон закрыт, для них это необитаемая земля. Запрет этот, как считается, наложен самой Игуменьей Святой Горы Божьей Матерью. Более тысячи лет назад он вошел в число основных, подлежащих уставов, не подлежащих пересмотру. Монах, отсекающий свою волю в отданности Богу, отсекающий все мирское, телесное, в суровой аскезе, естественно, должен отсечь и женщину. Даже животные женского рода не признаются на Афоне. Но, отъезжая от Иверского монастыря, мы наткнулись на резвившихся перед колесами нашей машины котят.

— Откуда? — громогласно изумился Савва Ямщиков, от удивления приподнимаясь в машине так, что показалось, будто и джип наш оторвался от земли. — Крысы одолевают, — смущенно объяснил о. Никодим. — Пришлось временно позволить.

Приходилось, кажется, дважды или трижды за тысячелетнюю историю делать исключения и для женщин. Но случалось это во дни несчастий народных, перед которыми Афон затво-

риться не мог. Во дни жестокой расправы турок в 1821 году, о которой уже упоминалось, на Святую Гору кинулись в поисках спасения десятки тысяч мирных жителей. И, конечно, среди них были женщины и дети. Они скрывались в лесах, монастыри захватили турки. Затем революция 1862 года, затем фашистская оккупация и гражданская война в 1947-м. Эти погущения, о которых на Афоне лишний раз стараются не вспоминать, были результатом стихийного вторжения и укрывательства и не могут бросить тень на Афон и его законы, ибо милосердие превыше всего.

Святая Гора, как твердыня Православия, века и века притягивала к себе воинов Христовых. Их жития поражают сверхчеловеческой силой воли и духа. Инок Пантелеимонов обители о. Парфений, из середины XIX века оставивший воспоминания, начинает их так: «Хочу описать общежительную афонскую жизнь — живых мертвецов, земных ангелов и небесных человеков...»

Но в монастырях зачастую и не ведали, до каких пределов самоотвержения и самоистязания доходили пустыnnики, обрекавшие себя на претерпения, сравнимые с великомученичеством первохристиан. И до каких высот духовного устройства поднимались старцы, избравшие полное одиночество. «Можно сказать, что святая гора подобна пчелиному улью, — читаем мы дальше у о. Парфения, кстати, закончившего свои дни в моих родных местах игуменом Киренского монастыря на Лене. — Как в улье многое множество пчелиных гнезд, так на Афоне многое множество келий. Как в улье непрестанно жужжат пчелы, так и на Афоне иноки день и ночь жужжат, глаголя Давидовы псалмы и песни духовные».

Старец Амвросий (из греков), проживший на Афоне почти весь XIX век и беспрестанным подвижничеством сподобившийся жизнеописания, себя и подобных себе пустыnnиков-келиотов ставил гораздо ниже, чем таких же страдников до них. «Когда я приехал на Св. Гору, тогда застал здесь поистине старцев и по самому виду, и особенно по духовной опытности. Бывало, мы взглянуть на лица их не смели, а если взглянешь, то невольно смежишь глаза от сияющей в них благодати, и, согбенно поникнув долу, проходили мимо их. Слово их было сильное и поселяло благоговейное к ним отношение и страх, растворенный любовью».

Накануне Первой мировой войны на Афоне, длина которого, повторим, сорок километров и ширина от восьми до двенадцати километров (это вместе с непроходимыми горами и ущельями), сияло земными звездами, колокольным звоном разливалось больше тысячи церквей. И это в преддверии времен почти апокалиптических: от Первой мировой войны и по сей день мир — как христианская часть земной планеты — так и не установился на своих духовных основаниях, заданных и вымученных первохристианами и Отцами Церкви, а мир — как цивилизация, т. е. отпавшая от Церкви часть человечества — впал в невиданные доселе помешательство и разнузданность, кои распаляются все больше и больше... прежде добавлял: «так что не видно им конца» — теперь, напротив, заслуженный и трагический вселенский конец просматривается все отчетливей.

Афон, не отдавший вражескому духу ни пяди своей земли и ни слова молитвы, остается прежним Афоном. Но незримые изменения в нем могли произойти. Когда планетарно, как сегодня, меняется климат в сторону потепления, результаты заметны всюду, даже в самых глухих и затененных местах. На моей родине по Байкалу и Ангаре белый гриб, житель Центральной России, прежде не водился. «Неклиматно» было. Стало «климатно», и чувствует себя у нас прекрасно и продвигается все дальше на север. Плоды климатических перемен, возможно, и переносятся по воздуху, но принимаются почвой. Афон пока еще держится стойко, но духовное «потепление», лучше сказать, «ростепель», наводящая сырость и грязь, окружает его со всех сторон. Афон стоял и стоит на древних уставах и православной традиции; но именно потому, что он стоит на молитвенной традиции, глубокой и сокровенной, вросшей в его землю и пронизавшей его воздух вместе с двухтысячелетним преданием, — именно поэтому «цивилизованный» мир, ломающий любую традицию, и косится на него. Для мира-богоборца эта маленькая монашеская республика — что бельмо на глазу или кость в горле. Афонские монастыри живут в бедности; Европейский союз предлагает миллионы и миллиарды... в обмен на «права человека» и международную зону туризма. Вовсю усердствуют феминистские организации, раздувающие кадило «дискриминации женщин». Монахи в голос заявляют: ежели это дьявольское погущение допустится, они покинут Афон. Сомневаться в этом не приходится. Предложения дружеских объяснений, исходящие из «свободного мира» и звучащие нередко ультимативно, уже сами по себе означают сигнал к проверке на прочность афонских стен.





Насельник Свято-Пантелеимонова монастыря. Фотографии для очерка любезно предоставлены Анатолием Пантелеевым (Санкт-Петербург)

В Свято-Пантелеимоновом рассказали нам историю, которая звучит как легенда, если бы не свидетели и короткие для легенды сроки. Несколько лет назад напротив монастыря встала на якорь яхта, с нее прыгнула в воду девушка в купальнике и погребла к берегу. Только вышла на камни и приняла позу — десятки окуляров со шхуны бросились снимать это «явление». Как же — женщина на Афоне! — да ведь это сенсация, это стоит денег и денег!

Девушку полицейские согнали с берега, и она, сделав свое дело, отправилась обратно на шхуну. Чуть-чуть не доплыла — вдруг крик, возня в воде, окрасившейся кровью. Считается, что самозванку, поправшую афонский закон, разорвала акула. Но никогда прежде в этих водах акул не встречали, и откуда взялась эта, свершившая возмездие, никто не объяснит.

Второй случай — менее картинный и обошедший без трагедии — произошел за год до нашего туда приезда. Монахи нашего же монастыря натолкнулись в горах на загоравшую под афонским солнцем на камнях парочку. Парень и девушка принялись оправдываться: катались на резиновой лодке, но пропороли днище о подводный камень, пришлось искать спасения на берегу. Монахи взялись проводить потерпевших крушение к месту катастрофы и нашли припрятанную лодку целой и невредимой. Парень был смущен, а девушка покатывалась со смеху.

Воцарившийся ныне мир, называющий себя либеральным, безнравственный, глумливый, циничный и жестокий, произошел не от доброго семени. Он не считается с грехом, изымает из обращения нравственные понятия и издевается над ними, клятва на Библии стоит не больше, чем игривые уверения в верности жене. Малое стадо не подпавших под его власть и влияние чувствует себя изгоями и не знает, куда бежать от победного и буйного куража этого мира над землей-планетой, праматерью нашей, донельзя надорванной и обесчещенной.

А на Афоне покой и мир; если даже и занялась там тревога, она не видна. Подхватываясь из храма в храм, неземными голосами звучат песнопения, коим внимает небо; грубых слов и неправды нет и в помине; усердие не знает другого назначения, кроме благого; святой дух расстилается по лесам и травам. За все три дня, пока мы здесь были, море терлось-приласкивалось с наговором о берег, украдкой бродил по кустам ветерок, хорошо видна была на вершине Святой Горы церковь. Небо в последний день высокое, распаханное, по-весеннему свежее, солнце от одной тучки скользит к другой, затем к третьей, растянутым цепочкой, и в минуту сдувает их. На невысоком откосе подле монастырской стены долго и неподвижно стоит монах и, прикрываясь ладонью от солнца, смотрит в море. В той ли стороне Россия, куда с надеждой и терпением он вглядывается, я не знаю, не могу сориентироваться. Но куда еще через море может заглядывать русский монах? Или в ожидании пришествия Того, Кто ходит по воде, аки посуху?..

